

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ



Мать



МОСКВА
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г71

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Горький, Максим.

Г71 **Мать / Максим Горький.** — Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-191761-6

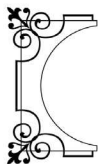
Максим Горький (1868–1936) — русский и советский писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист и общественный деятель, публицист. Вышедший в 1906 году роман «Мать» рассказывает историю Пелагеи Ниловны, вдовы фабричного слесаря, чей сын пытается вырваться из беспросветного тяжелого окружения. Несмотря на опасения и страх, она постепенно проникается его революционными идеями и присоединяется к борьбе за права трудящихся.

Роман считается отправной точкой для жанра «социальный реализм».

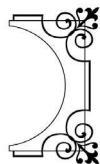
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-191761-6

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а навстречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг

к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушные к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желаний попытаться изменить ее.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.

II

Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, — маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно.

— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные, желтые

зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.

— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал:

— Ну, — кто смерти хочет?

Никто не хотел.

Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене.

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет — Влазову захотелось оттащить его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:

— Не тронь...

— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу.

— Будет! — сказал Павел. — Больше я не дамся...

И взмахнул молотком.

Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил:

— Ладно...

Потом, тяжело вздохнув, добавил:

— Эх ты, сволочь...

Вскоре после этого он сказал жене:

— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит...

— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она спросить.

— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику

и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов от-
правлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и, точно
желая найти кого-то, царапал своими глазами лица лю-
дей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой,
пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садил-
ся ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не
бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он
сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успева-
ла вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки
и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводив-
шим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв
глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его усах,
сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял во-
лосы бороды и усов толстыми пальцами и — пел. Слова
песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия
напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока
в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку
или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака
лежала рядом с ним.

Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он
ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скрипел зу-
бами. Иногда говорил жене:

— Дай мышьяку, отрави...

Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал,
что необходима операция и больного нужно сегодня же
везти в больницу.

— Пошел к черту, — я сам умру!.. Сволочь! — прохри-
пел Михаил.

А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговари-
вать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погро-
зив ей, заявил:

— Выздоровлю — тебе хуже будет!

Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на рабо-
ту. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были
сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака,

старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел — не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...

Некоторые поправляли:

— Не помер, а — издох...

Когда гроб зарыли, — люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упиравшись рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша, — живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

— И — курить буду! Дай мне отцову трубку... — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

«Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

«Видно, рано еще мне. Другие пьют, и — ничего, а меня тошнит...»

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь вверх, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это

придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах блестяли седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам ее медленно текли слезы.

— Не плачь! — тихо попросил сын. — Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу..

Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустила на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и все.

Павел сделал все, что надо, молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстух, галоши, трость — и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя по праздникам куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится непохожим на фабричную молодежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни, — это вызвало в душе ее чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с те-

чением времени сын говорит все меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее, грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа считаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда, вдруг, обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро шекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала: «Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы, и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возрастающих.

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя, — тихонько сказала она, — что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму, — в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться, не думая, и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатым горем и тоской.

— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается. — Подумай, какую жизнью мы живем? Тебе сорок лет, — а разве ты жила? Отец тебя бил, — я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе — горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, — говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он. — Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное, — оно

мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все — и она сама — только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, — все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее.

Матерей — не жалеют.

Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, — была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь делать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать ему: «Милый, что ты можешь сделать?»

Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее.

Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах; ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмурия брови, порою в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

— Так! — отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу..

— Я таких людей видел! — горячо воскликнул он. — Это лучшие люди на земле!

В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: «Так ли?»

Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:

— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!

— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, наклонясь к ней, спросил: — Поняла ты меня?

— Поняла! — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатались слезы, и, всхлипнув, она добавила: — Пропадешь ты!

Он встал, прошелся по комнате, потом сказал:

— Ну, вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь — не мешай мне!..

— Голубчик ты мой! — воскликнула она. — Может, — лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.

Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она. — Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты все...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи, как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше!..

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, так просто! А теперь все для меня по-другому встали, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменялся, о, господи!

Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мутные слезы.